

ЗАКОН ПАРНОСТИ СЛУЧАЕВ

Нелли Осипова

Я слышала когда-то, что у врачей есть свой профессиональный так называемый закон парности случаев.

Некоторый скепсис и сомнение относительно реального существования такого закона медленно покидали мое сознание по мере работы в Институте грудной хирургии АМН СССР, созданном в 1957 году благодаря невероятному упорству и фантастической энергии Александра Николаевича Бакулева, академика Академии медицинских наук, заведующего кафедрой факультетской хирургии 2-го Московского медицинского института и просто хирурга Божьей милостью. Позже клиника преобразовалась, и сегодня все знают об Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в просторечье именуемом «Бакулевский институт».

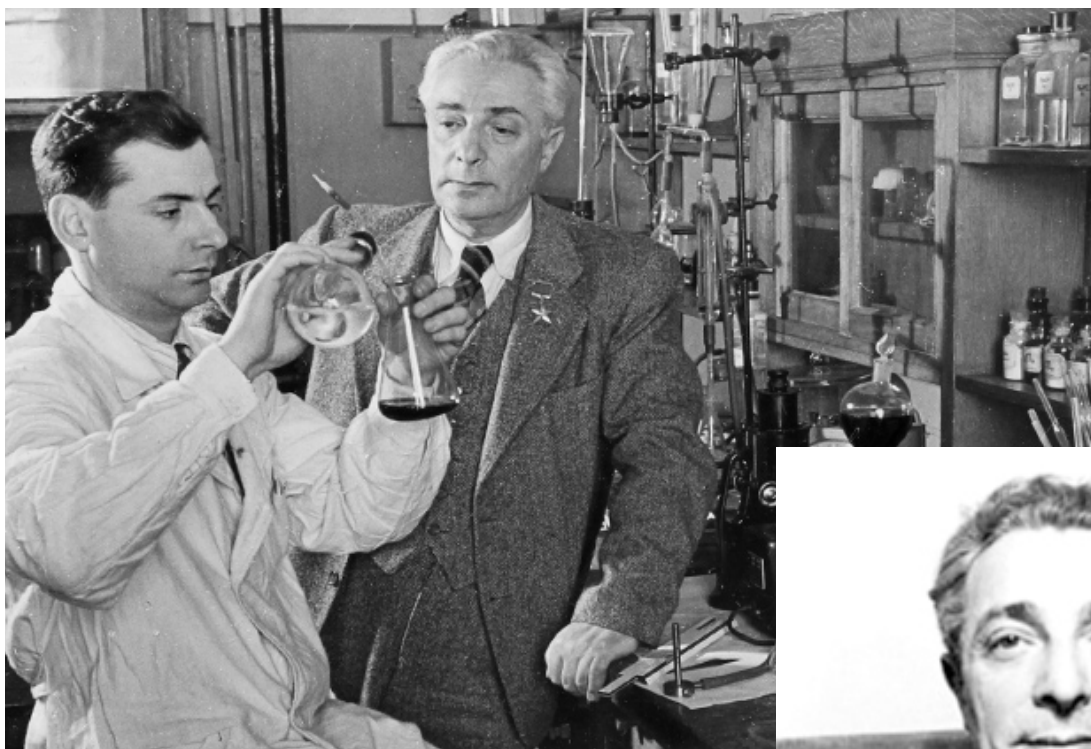
Именно здесь предстояло мне, врачу всего лишь с трехгодичным стажем работы, многому научиться, познакомиться не просто с великолепными специалистами, но и яркими, интересными людьми, сумевшими создать и сохранить, в рамках строжайших правил клиники и жесткости самого Бакулева в вопросах дисциплины, демократическую атмосферу, свободу и легкость взаимного общения и в клинике, и за ее пределами. Мы ходили вместе на театральные премьеры, не пропускали интересных спортивных событий (никогда не забуду коллективный поход на знаменитых баскетболистов «Globetrotters»), собирались на дни рождения и по разным, придуманным нами же самими поводам: например, объявлялся «съезд анестезиологов» (1-й, 2-й и далее в любом количестве, ad libitum) или «день закрытых дверей». Читали, передавая друг другу, книжные новинки, обсуждали, спорили. Словом, мы были молоды и занимались хоть и трудным, но любимым делом.

Именно в эти годы эмпирическим путем, веря и не веря, спотыкаясь и ошибаясь, мы постепенно приходили к выводу, что закон парности случаев действительно распространяется на нашу деятельность. Что и говорить, 1957–1959, первые годы становления сердечной хирургии

в СССР, пока еще сопровождались достаточно высокой смертностью, особенно в хирургии врожденных пороков. Чаше, чем хотелось бы, вслед за одной тяжелой, напряженной операцией следовал другой пациент, словно дублируя, повторяя клиническую судьбу первого. Бывало и наоборот: легко (если в кардиохирургии вообще применимо подобное наречие), как по нотам, без осложнений и отклонений от ожидаемого результата проделанная операция, как в зеркальном отражении, повторялась со следующим пациентом. Постепенно мы убеждались, что это явление имеет определенную закономерность.

Спустя много лет я стала наблюдать подобную закономерность и в обыденной жизни: если появлялся новый знакомый с интересной судьбой, вскоре обнаруживался еще кто-то, если не буквально, то во многом повторивший примерно такой же жизненный путь. И чаще бывало, что два совершенно разных и по характеру, и по своему социальному положению человека в определенной ситуации совершают схожие поступки.

Недавно где-то я прочитала о немецком хирурге Иоганнесе Кремере, приехавшем в 1967 году в Европейский институт стратегических исследований и прогнозирования, чтобы рассказать о своем опыте полувекковой практической



Академик Борис
Ильич Збарский в
лаборатории с сыном

Борис Збарский



работы. Он утверждал, что после удачной первой операции вторая проходит тоже удачно. И наоборот: если первая операция проходит с осложнениями, то и вторая обязательно не заладится. Сотрудники Института отнеслись к этому скептически: в частности, молодые аспиранты Зигмунд Отт и Отилия Вайман, не поверив хирургу, решили провести собственные наблюдения. Они стали посещать клинику доктора Кремера и вскоре не просто убедились в достоверности его наблюдений, но и вывели закон парности случаев.

Ну а мы, опередив немецких врачей, вывели его уже в 1958 году в Институте грудной хирургии АМН СССР. И только сейчас, вспоминая события еще более далекого прошлого, я с изумлением обнаружила, как в декабре 1953 года сама столкнулась со зримым проявлением этого закона, да только не знала, не ведала тогда о нем.

Началось все с приснопамятного сталинского «дела врачей». А впрочем, не с этого следует начинать, вовсе нет. Потому что настоящее начало было ярким, радостным и просто сплошным везением: мы успели, мы застали блестящую плеяду профессуры 1-го МОЛМИ, Московского ордена Ленина медицинского института, ныне Медицинской академии им. Сеченова. И хотя град августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года (Академия сельхознаук) изрядно побил ряды наших будущих педагогов, мы, восторженные первокурсники, в первый день сентября того же года еще не успели во всем разобраться и были просто счастливы, пребывая сплошь в розовых очках. Понадобилось совсем немного времени, чтобы лысенковский интеллектуально-научный террор перешел в настоящий, воинствующий террор с пытками, муками и смертями. Мы стали свидетелями уничтожения цвета, гордости и чести отечественной медицины. Безжалостные удары наносились по людям

высочайшей квалификации, носителям главной идеи в медицине: только преемственность и бережное сохранение клинической школы, вкупе со знаниями и опытом, — залог успешной диагностики, лечения и воспитания новых поколений врачей. Разве не для этого существует медицина! Увы, сегодня многие школы разрушены, о преемственности нет и речи — бесконечная чехарда и смена остепененных руководителей, кочующих с кафедры на кафедру, из клиники в клинику с одним лишь внутренним посылом: «В Москву! В Москву!», погубили лучшие традиции российской медицины. Но речь здесь не об этом...

Я хочу вспомнить и рассказать о двух моих педагогах: профессоре В.Х. Василенко и профессоре Б.И. Збарском. Оба были арестованы в 1952 году.

Василию Харитоновичу я была представлена в качестве претендентки на должность ночной дежурной медсестры в клинике пропедевтики внутренних болезней, которой он заведовал. Для нашего института было нормой, когда студенты, желающие подработать, устраивались на по-



Борис Збарский с женой и сыновьями, 1946 год

«Ну что ж, добро, будем работать вместе». Господи, вместе? Это говорил мне Главный терапевт 4-го управления Минздрава СССР, главный терапевт Кремлевской больницы, который лечил самого Сталина! Сказал и, заметив, как я буквально остолбенела от неожиданности, добавил: «Я днем, а вы ночью»».

добные должности. Однако неукоснительно соблюдалось правило — брать только тех, кто уже перешагнул порог клиник, то есть не ранее третьего курса, поскольку первые два года посвящались теоретическим предметам: неорганическая и органическая, а также аналитическая химия, биохимия, физика, анатомия, гистология, физиология и т.д. Исключение составляли демобилизованные студенты, прошедшие войну фельдшерами, — а их, еще носивших лямпаемые гимнастерки, на курсе было много: ведь война закончилась совсем недавно. Таких ребят брали на работу с любого курса, даже с первого. Мой случай не подходил ни к одной из этих категорий. Зато я умела неплохо делать инъекции — подкожные, внутримышечные, даже внутривенные, промывать и зондировать желудок, ставить банки и выполнять ряд других процедур. Где и когда я этому научилась — другая история, к моему рассказу не имеющая отношения, но тогда профессору Василенко я об этом поведала, чтобы убедить его принять меня на работу.

Василий Харитонович, высокий, крупный, сильный, я бы даже сказала, мощный, но не полный мужчина, уже довольно старый, как я определила тогда с высоты своих двадцати лет (на самом деле ему было чуть более пятидесяти), возвышался надо мной, лукаво улыбаясь, и внима-

тельно слушал мои доводы. Потом протянул мне руку — я сразу про себя подумала: сильная, но добрая рука, — и сказал: «Ну что ж, добро, будем работать вместе». Господи, вместе? Это говорил мне Главный терапевт 4-го управления Минздрава СССР, главный терапевт Кремлевской больницы, который лечил самого Сталина! Сказал и, заметив, как я буквально остолбенела от неожиданности, добавил: «Я днем, а вы ночью».

В отделе кадров института тетенька со строгим лицом сказала, что трудовая книжка мне не положена, так как со второго курса не имеют права брать на работу, вот только по просьбе профессора Василенко. «Небось, зубы заговорила Владимиру Харитоновичу? Он у нас добрый. Смотри, не подведи его». Я не успела ответить, а тетенька уже заполняла бланк, поглядывая в мой паспорт, и добавила: «Не кипятись, это я так. Выдержишь? Ночь не спамши и на лекции?» Я обиженно промолчала. Главное было достигнуто: меня взяли в клинику медсестрой, а понятие «трудовая книжка» в ту пору мне казалось пустой формальностью. Сегодня я бы сказала, что упустила важную строку в своем «портфолио».

Через день наступило мое первое дежурство. Я зашла в ординаторскую представиться дежурному врачу. Открыла дверь и молча уставилась на молодую красавицу-



Всеволодо-вильвенский кружок (слева направо): Борис Пастернак, литератор Евгений Лундберг, Борис Збарский, Фанни Збарская и их сын Илья Збарский

брюнетку, так она была хороша! Я назвала себя, а доктор улыбнулась и тоже представилась: Коштоянц Кира Хачатуровна, можно просто Кира. Она оказалась дочерью известного физиолога Коштоянца Хачатура Седраковича, директора Института истории естествознания АН СССР, лауреата Сталинской премии. Он рано умер, а в Москве теперь есть улица Коштоянца.

Мы разговорились с Кирой, потом пошли на обход, и она подробно рассказала о каждом, особо отмечая тяжелых. Мне понравилась точность ее формулировок, осведомленность о состоянии больных. Мы беседовали всю ночь — врач вводила меня в курс дела: говорили о Василенко, о втором профессоре Али Матвеевиче Дамире, о доценте Ксении Широковой и других врачах клиники. Периодически я тихонечко, пока еще робея, прохаживалась по коридору отделения, мимо распахнутых дверей в палаты — их не закрывали на ночь. Все было тихо и спокойно, очень по-домашнему. И это клиника? — думала я. — Можно даже поспать. Но Кира Хачатуровна быстро спустила меня на землю: просто мне повезло для начала. Бывают очень тяжелые дни, даже смерти. Нельзя расслабляться, всякое может случиться. Так состоялся мой первый урок клинической медицины.

Наутро это «всякое» случилось, но в самом страшном, чудовищном виде: пришедшие на работу врачи сообщили, что арестован Владимир Харитонович...

Я не стану рассказывать о судьбе Василенко, об этом много написано в самых разных источниках. Его обвинили в заговоре с целью убить вождя народов, держали в наручниках, били. Он один из немногих арестованных



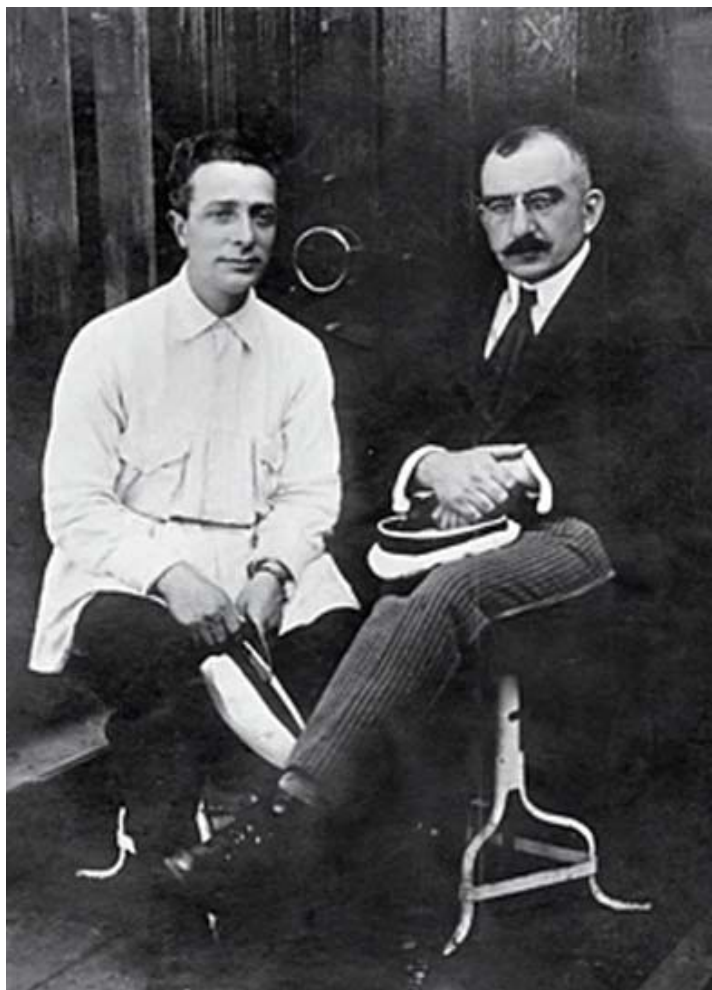
Борис Збарский

врачей (если не единственный), который не согласился с обвинением и не подписал ни единой бумаги палачей!

К сожалению, мне так и не пришлось прослушать цикл его лекций по пропедевтике, который он должен был читать на протяжении всего третьего курса, — мой третий год обучения пришелся как раз на период пребывания Владимира Харитоновича в тюрьме.

Только после смерти Сталина профессор Василенко был реабилитирован, вернулся на свои прежние должности и сделал еще очень многое для отечественной медицины.

Ученик Н.Д. Стражеско и Ф.Г. Яновского, Владимир Харитонович Василенко, воплощая в жизнь традиции этой школы, стал подлинным врачом-интернистом, клиницистом широкого профиля. Особо значимы его усилия по созданию отечественной гастроэнтерологии. На мой взгляд,



Б.И. Збарский и В.П. Воробьев

это настоящий подвиг, врачебный, организаторский и человеческий. Подумать только, какой силой духа, не говоря уже о физической, нужно было обладать, чтобы после чудовищных страданий, жестоких избиений, пыток, в результате чего Владимир Харитонович потерял в весе 18 килограммов, выйти из сталинской тюрьмы и продолжить дело всей своей жизни. Уже в 1961 году он создает лабораторию гастроэнтерологии, а еще через шесть лет на ее базе — Всесоюзный научно-исследовательский Институт гастроэнтерологии, объединенный с его родной кафедрой и клиникой пропедевтики внутренних болезней 1-го МОЛМИ, которой по-прежнему руководит и расстанется с ней лишь в 1987 году, в самом конце жизни, когда ему исполнится 90 лет. С 1967 по 1973 годы Василенко — неизменный директор Института гастроэнтерологии, теперь уже обретшего свое собственное, специально для него построенное здание на улице Погодинка. Одновременно он председатель им же самим организованного Всесоюзного общества гастроэнтерологов. Дальше происходит странная метаморфоза: по решению Правительства Институт получает новый статус, а именно — из подчинения Минздраву СССР переходит в ведение Москвы и переезжает на шоссе Энтузиастов, 86 в здание бывшей 58-й больницы, где я работала хирургом с 1956 по 1958 годы. Ака-

демик Василенко, которому к тому времени исполнилось 76 лет, по понятной причине покидает свой пост и предлагает на должность директора профессора Анатолия Сергеевича Логинова, которого я помню по своим студенческим годам: он работал ассистентом в одной из терапевтических клиник 1 МОЛМИ, преподавал, помню, вел группу №30 нашего курса. В этой группе училась Нина, дочь академика Парина. На ней и женился впоследствии Логинов. Но самое интересное, что с момента своего назначения Логинов стал называться не просто директором, но и основателем института. Это как? Почему? Только лишь потому, что институт поменял вывеску, стал Центральным научно-исследовательским и перешел в подчинение Москвы? Но разве не с целью научного исследования и, конечно же, для лечения больных создавал его Василенко, пробивал тысячи инстанций, преодолевал всяческие препоны, понятные в таком сложном деле, как рождение почти на пустом месте этого медицинского гиганта? Разве не он в самые трудные годы становления нового Института возглавил и наладил там работу? А теперь уже вместе с названием и почтовым адресом сменили и имя создателя, основателя. Не стыдно? Никому не стыдно? Впрочем, Логинов скончался в 2000 году, а мертвые сраму не имут. Но осталось детище Владимира Харитоновича и новые в нем поселенцы. А что, они полагают, что жизнь любой клиники начинается каждый раз с приходом туда новых директоров, новых врачей, сменой одних зданий и названий на другие? Все по присказке «иваны, не помнящие родства»? Ну нет! Если в медицине нет преемственности, то и прогресса не видать. Я убеждена в этом, и пусть кто хочет, поспорит со мной. А ныне покойному Владимиру Харитоновичу не привыкать было получать незаслуженные удары. Он мужественно прожил свои 90 лет, и не стоит предавать память о нем, когда сам он уже не может постоять за себя.

Но вернемся в те далекие годы, когда я благополучно стала осваиваться в роли дежурной ночной медсестры в пропедевтической клинике, но уже под руководством профессора Дамира. Он мало, вернее, совершенно не интересовался моей персоной: ну, сидит и сидит на посту медсестра — пусть сидит. Впрочем, заставлял он меня там еще до начала моей работы, потому что после занятий на Моховой, где обретались мы первые два года учебы, я ехала прямо на Пироговку, не тратя времени на возвращение домой, и отпускала дневную сестру. Иногда Али Матвеевич подходил и просил налить ему в мензурку смесь Бурже — была такая жидкость, снимавшая изжогу в желудке. Видимо, были у профессора проблемы с желудочно-кишечным трактом. И тут я не могу удержаться, чтобы не рассказать о забавном эпизоде.

Недавно смотрела какую-то передачу по телевизору, нечто вроде ответов врача на вопросы телезрителей. Доктор все время повторял непонятное мне поначалу слово «жекате», которое почему-то напомнило мне «эмхате», как нынче именуется МХАТ. Он с экрана: жекате, а я про себя: эмхате. Такая вот забавная игра минут на пять, даже хотелось продолжить: жекате да жекате, «а об водке ни полслова» (прости меня, Денис Давыдов!)... Наконец, я догадалась: ну как же! Желудочно-кишечный тракт! Вот

что значит «жекате», тупица! То самое жекате, ради которого и был создан Институт гастроэнтерологии (а может, и вправду назвать его НИИ ЖЕКАТЕ?). Но если современному врачу эта чудовищная аббревиатура не режет ухо, то непонятно, почему они, то есть уши, не вянут у театральных людей, работа которых неразрывно связана со словом, когда они, вместо привычного «МХАТ», произносят, как выхаркивают, свой кошмарный неологизм «эмхате»? А может, уже завяли — просто нам не видно?

Так вот, у профессора Дамира явно был не порядок с жекате. Вот я и отпаивала его смесью Бурже (что в этой смеси и кто такой Бурже, чьим именем названо лекарство, до сих пор, к стыду своему, не знаю; надеюсь, что хотя бы француз, не хуже давыдовского Жимини).

А на Армянском кладбище много лет назад рядом с могилой моих родителей появилась могила Али Матвеевича Дамира. Чудны дела твои, Господи...

Моя бурная деятельность на сестринской ниве продолжилась вплоть до начала весенней сессии, когда по окончании второго курса мы стали сдавать так называемые полулекарские экзамены, оценки за которые шли прямо в диплом. То была старинная традиция в медицинских институтах. После полулекарских студент допускался в клиники. Экзамены держали по анатомии, физиологии, биохимии и гистологии. Как это происходит сейчас, не знаю. На этих экзаменах профессор мог по своему усмотрению поставить в зачетке 5+

«Лекции Збарского я слушала внимательно, никогда не пропускала, поскольку знала, что химия — мое слабое место. Не могу сказать, что мне было интересно, но весь его облик элегантного, красивого, обаятельного мужчины, ухоженного и всегда одетого с отменным вкусом, привлекал и располагал к нему. Жесты его были изящны, скупы и точны».

(пять с плюсом), если ответ ему особенно понравился или студент ответил на дополнительный вопрос.

Все полулекарские я сдала на пять. А биохимию — самому профессору Борису Ильичу Збарскому на пять с плюсом! Это было для меня настолько неожиданно и незаслуженно, что я до сих пор вспоминаю событие с легким чувством стыда, потому что еще со школьных лет любую химию, как бы она ни называлась, я терпеть не могла и, как следствие, не очень-то хорошо и знала. К счастью я вытянула приличный билет и на все вопросы ответила. Довольная таким оборотом дела, я следила за рукой профессора, которая, по моему мнению, должна была незамедлительно вывести в зачетке заветную цифру «5». Но Борису Ильичу, видимо, захотелось вознаградить меня за хороший ответ по-царски и поставить пять с плюсом — он задал дополнительный вопрос. Речь шла о продуктах питания для пациента с каким-то заболеванием — сейчас уже не помню, каким. Ответить надо было: «морковь». Я растерялась. Не столько от сложности вопроса, сколько от неожиданности. И тогда профессор, чуть наклонившись к столу, стал шепотом по слогам произносить: «мо-орко-овка-а», приглашая жестом и меня повторять вместе с ним, что я и сделала, не



Пропуск Б.И.Збарскому в Мавзолей

мешкая. По окончании нашего дуэта в унисон, он расплылся в улыбке и, сказав: «Прекрасно», поставил в зачетку «5+». Он был широкий и доброжелательный человек и всегда снисходительно относился к студентам, полагая, что врач не должен быть химиком (на это есть химики), но обязан ориентироваться в том, что рекомендуют профессионалы-химики, и пользоваться этим при лечении больных. А студента лучше подбодрить, вселить ему уверенность в себе и не запугивать бессмысленной строгостью.

Лекции Збарского я слушала внимательно, никогда не пропускала, поскольку знала, что химия — мое слабое место. Не могу сказать, что мне было интересно, но весь его облик элегантного, красивого, обаятельного мужчины, ухоженного и всегда одетого с отменным вкусом, привлекал и располагал к нему. Жесты его были изящны, скупы и точны. Он не писал мелом на доске, а выводил формулы на специальном стекле с подставкой, лежащей на кафедре, а лампа под стеклом отображала запись на небольшую доску на стене. Разумеется, это приспособление, скорее всего аппарат, имеет свое название, но я по сию пору абсолютно в этом не разбираюсь. Мне нравилось, что профессор интонационно не настаивал на важности или обязательности своей лекции, как делали некоторые другие преподаватели, буквально вбивая в нас каждую фразу, каждое слово, а как бы делился тем, что ему уже известно, а нам может пригодиться, — слушайте, если хотите. Любопытно, что на его лекциях никто не играл в «балду» или «морской бой», что бывало порой в других случаях. Иногда сбегали с лекции — это да, святое дело: здание находилось на Садово-Кудринской, и его задняя дверь вела прямо на территорию зоопарка, где продавались такие вкусные бублики с



В.Х. Василенко

*Конверт с изображением
В.Х. Василенко*



пылу-с жару! Но в «балду» — никогда! В перерыве между двумя часами Борис Ильич уходил в крохотную комнату, которая была частью аудитории, где мы сидели, просто отгороженной стенкой и дверью, всегда распахнутой настежь. Точно по звонку он возвращался и, не дожидаясь, пока все усядутся, продолжал лекцию.

Конечно же, мы знали, что наш профессор — один из двух ученых, бальзамировавших труп Ленина. Вместе с ним работал и профессор анатомии Владимир Петрович Воробьев, по великолепному атласу которого мы два года зубрили нормальную анатомию. Знали, что Борис Ильич — Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии. И это только прибавляло уважения к нему. А потом еще Збарский ездил в Болгарию и бальзамировал там Георгия Димитрова. Создал при Мавзолее лабораторию для постоянного наблюдения и поддержания главного трупа страны в состоянии кондиции. В лаборатории вместе с ним работал его старший сын (от первого брака) Илья Борисович Збарский.

Когда в 1952 году Бориса Ильича арестовали вместе с большой группой врачей, мы, студенты, были в недоумении: практически все доктора были обвинены в преступной деятельности против Сталина, желая его отравить, убить и еще черт знает что с ним сделать. Но Збарский не врач, он не лечил Сталина, он бальзамировал труп! Что он сделал не так? Плохо забальзамировал? Ненадежно? А кто это может знать заранее, если Мавзолей успешно функционирует, и доступ к телу продолжается? Для нас это было загадкой. Только позже выяснилось, что Збарский в своей научно-популярной брошюре «Мавзолей Ленина», изданной в 1944

году и еще дважды переизданной, не отразил роли Сталина в Октябрьской революции. Прошло восемь лет после первого выхода брошюры — и вот, видите ли, додумались: не отразил! Такое серьезное преступление! Заодно добавили еще всякой контрреволюционной всячины — и дело готово: арестовали не только самого Бориса Ильича, но и его жену, Евгению Борисовну. Ей присудили 10 лет лагерей и отправили в Мордовию, в Потьму. Правда, не тронули Илью Борисовича: должен же кто-то и в «лавке» оставаться, за трупом следить, а то все по тюрьмам, а вождь-то как?

После этой чудовищной акции последовали «мелкие» пакости: оставленных на воле двоих сыновей от брака с Евгенией Борисовной (старшему, Леве, 21 год, младшему, Виктору — 11) выселили из квартиры Дома на набережной: тогда еще книги Трифонова не было, а многоквартирный великан назывался просто «Дом правительства». Мальчишкам от правительственных щедрот выделили комнату в многонаселенной коммуналке в Большом Афанасьевском переулке. По-моему, это был дом Скрыбина: вход с улицы через арку, потом следовало подняться по лестнице, ведущей прямо со двора на второй этаж, пройти через кухню в конец коридора, где и находилась комната. Видимо, это был

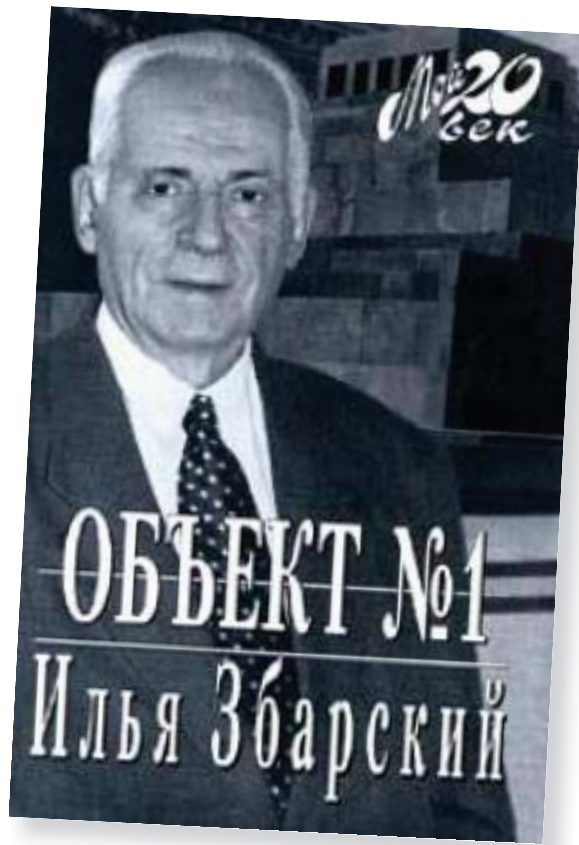


Биохимик, академик РАМН, профессор Илья Борисович Збарский

бывший черный ход для поставщиков продуктов, молочниц и кухарок, а ныне для рядовых советских граждан.

Именно здесь, в этой комнате, и произошло то знаковое для меня событие, которое и сейчас, спустя почти шестьдесят лет, помню и ясно вижу. Но прежде я должна вернуться в 1948 год, когда после окончания школы я и несколько моих одноклассников приехали в Москву на учебу. Я поступила в 1-й МОЛМИ, а Лаура Саакян в консерваторию, в класс пианиста профессора Григория Гинзбурга. Еще в Тбилиси, нашем родном городе, мы обе параллельно со школой учились в музыкальном училище. Лаура была очень талантливой пианисткой с абсолютным музыкальным слухом и совершенно фантастической способностью к импровизации. Ее блестящая музыкальная (и общая) память позволяла ей сыграть незнакомое произведение, услышанное всего лишь раз, повторив его по слуху почти без ошибок. Не помню, чтобы у нее были какие-нибудь записные книжки: она помнила нужные ей телефоны наизусть. Лаура отличалась отменным вкусом, умела красиво одеться, всегда в хорошей обуви, всегда прибранная и ухоженная, хотя подобная характеристика для школьницы покажется преувеличенной, но все же это именно так.

В Москве на первое время она остановилась в пресловутом «Доме правительства», у дальних родственников, чей сын, Анри Вартанов, оказался одноклассником и другом Льва Збарского, будущего известного и популярного художника, сына академика. Лева тогда еще заканчивал десятый класс школы и был примерно на два с половиной года моложе Лауры, но это не помешало ему влюбиться



и сразу же начать настойчиво, упорно ухаживать за ней. Высокий, тощий, невероятно большеротый, с какими-то золотушными глазами, — ну настоящий уродец. Он вызывал у нас смех, и мы прозвали его лягушонком.

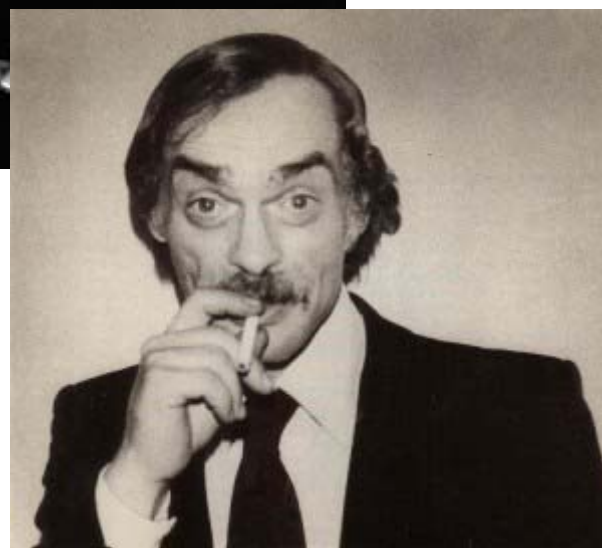
Лаура не знала, как отделаться от его приставаний. Красавицей ее вряд ли можно назвать, но вся ее ладная фигурка, небольшой рост, красивые руки, живость в движениях, большие, выразительные глаза с веселым огоньком, опущенные густыми ресницами, привлекали к ней внимание. К тому же в любой компании — а она быстро стала обрастать знакомыми, приятелями, покровителями — Лаура была востребована. Она привезла с собой из Тбилиси аккордеон, на котором прекрасно играла, и неплохо пела. Ее приглашали в интересные дома, привечали, приветствовали и дружили. Я несколько раз бывала в доме Вартанова (на встрече Нового 1949 или 1950, не помню точно, еще на каком-то дне рождения). Лаура всегда в центре внимания, играет запрещенный джаз — гости в восторге!

Когда Лева поступил в Полиграфический институт и стал чуть менее зависим от родительского внимания, он активизировал свои ухаживания, и это очень не понравилось старшим Збарским. Семья известного, всеми уважаемого академика — и вдруг какая-то провинциалка, «парвеню»! Да еще исчезают с туалетного столика французские духи Евгении Борисовны. Все силы брошены, чтобы отвратить сына от нее, не допустить мезальянса. Им и не ведомо, что духи Лева просто подарил Лауре. Откуда ей было знать о происхождении непочатого флакончика? Впрочем, она вовсе не поощряла его, но если он приглашал ее в коктейль-

Лев Збарский и Игорь Кваша



Лев Збарский



холл на улице Горького, или в дом к своей однокласснице Гале Волчек, или в Дом актера, почему было не пойти?

Но кем же была на самом деле эта маленькая «провинциалка»?

Ее отец работал одним из секретарей ЗАК ЦК, то есть Закавказского Центрального Комитета партии, той самой, которую когда-то создавал и возглавлял будущий труп, забальзамированный Борисом Ильичом Збарским. В 1937 году Гаррика Саакяна расстреляли за то, что он якобы имел что-то против преемника будущего трупа Иосифа Виссарионовича Сталина, чью роль в Октябрьской революции так недобросовестно отразил все тот же Збарский. Ну, что тут скажешь? Осталась вдова, тетя Маро, одна с тремя детьми: старшему 12, младшему 4, а Лауре, средней, — 9 лет. Кажется, что-то похожее уже было в моем рассказе, не так ли? Но это еще не совсем закон парности случаев, отнюдь. Потому что нельзя говорить о схожести двух случаев, когда на самом деле это была судьба тысяч и тысяч советских людей, — кто ж их по парам-то разложит!

Маленькая, хрупкая тетя Маро с энергией мощного электродвигателя совершила невероятное: подняла детей, воспитала, всех выучила. Старший, Алексей, обучился игре на кларнете и пошел служить в милицейский оркестр. Это была зарплата плюс одежда, хоть и милицейская форма, а все ж не голый зад. Потом он научился шить обувь и обувал сестру, мать и младшего, Доната. Лаура, на зависть девочкам, так часто меняла туфли, что мы порой не успевали присмотреться к обновке, глядишь — а на ней уже новые. В школе мы только удивлялись этому, а потом она мне рассказала: все-таки Алеша не был профессиональным сапожником, да и материал

у него был бросовый, поэтому обувь быстро приходила в негодность — то задник сломается или оседет, то подошва через пару недель «кушать просит». Вот и приходилось заново наряжать детей. Лаура, еще учась в школе, организовала вместе с нашим однокурсником по музыкальному училищу небольшой оркестрик, и они играли в кинотеатре «Руставели», лучшем кинотеатре Тбилиси, перед началом сеансов. И это тоже был некоторый прибыток. Сама тетя Маро пошла работать буфетчицей в нашу школу, где учились все ее дети. В военные годы она разносила по классам крошечные булочки из кукурузной муки с мандариновым вареньем. Этот изысканный десерт мы получали помимо хлебных карточек. В страшные 1942–1943 годы, когда фашистская дивизия «Эдельвейс» добралась до Кавказских гор, захватила Приэльбрусье, контролировала Клухорский и другие перевалы и рвалась в Закавказье, вывоз мандаринов за пределы республики прекратился, вот и варили из портящихся цитрусов варенье, кое-как накромсав кожуру. Мы не



Лев Збарский

«Невозможно представить себе степень неприспособленности Левы к элементарным, неизбежным для каждого человека бытовым обязанностям. По-моему, он никогда в жизни не купил батона хлеба или бутылки молока. О младшем брате и говорить не приходится. Что ожидало бы мальчиков, не будь рядом с ними Лауры, трудно даже предположить».

роптали, ели, у других и этого не было. Но с тех пор я почему-то не люблю мандаринового варенья.

В результате семья тети Маро выжила, все дети получили высшее образование и, как говаривали в старину, стали людьми: Алеша поступил во 2-й Московский медицинский институт, стал врачом, позже доктором медицинских наук, профессором, жил и работал в Пятигорске и Кисловодске. Донат учился в техническом вузе, стал инженером, уехал в Ереван, где и работал. А Лаура, окончив Московскую консерваторию, много лет заведовала музыкальной частью театра «Современник».

Такова история этой «парвеню», угрожавшей спокойствию семейства академика.

Однако невероятное упорство Левы постепенно возымело успех: Лаура, тронутая его постоянством и искренней любовью к ней, стала привыкать к нему, даже привязалась. Не последнюю роль сыграла и метаморфоза, которая в 17–18 лет обычно происходит со всеми мальчиками: из вчерашнего нескладного школьника Лева постепенно превращался в мужчину, уверенного, элегантного, светского.

И тут грянул арест родителей.

Невозможно представить себе степень неприспособленности Левы к элементарным, неизбежным для каждого человека бытовым обязанностям. По-моему, он никогда в жизни не купил батона хлеба или бутылки молока. О младшем брате и говорить не приходится. Что ожидало бы мальчиков, не будь рядом с ними Лауры, трудно даже предположить. Старший, сводный брат, Илья Борисович,

не взял на себя ответственности за младших (не мог или не хотел — не знаю, в любом случае не мне судить). И вот тогда на очередное предложение руки и сердца Льва Феликса (это второе имя отец дал сыну в честь Ф. Дзержинского) Лаура ответила согласием. Они поженились и переехали в комнату в Большом Афанасьевском переулке. Но что было делать с Витей, ребенком непростым, угрюмым, неприветливым, озлобленным? Лева и Лаура — оба еще студенты, а кто позаботится о младшем? Пришлось обратиться с просьбой к тете Маро. Она приехала в Москву и забрала с собой в Тбилиси мальчика, где изрядно намучилась с его скверным характером. И тут я не могу не сделать маленькое, но очень для меня важное отступление.

Начав писать свои воспоминания, я на всякий случай заглянула в Интернет, чтобы сверить и уточнить некоторые даты, и была крайне удивлена, обнаружив кучу подробностей о браке Левы с манекенщицей Региной (фильм о ней несколько раз показывали по ТВ), с актрисой Людмилой Максаковой, о якобы брошенном в этом браке ребенке, но ни слова о его первой жене Лауре, об их сыне Борисе, который родился уже после смерти Бориса Ильича и был

назван в его честь, словно их вовсе и не было! И это еще не все: обнаружила интервью с Виктором Борисовичем Збарским, тем самым мальчиком Витей, что был пригрет, ухожен и хоть на время спасен от сиротства тетей Маро в нашем родном и гостеприимном Тбилиси. Мальчик вырос, стал кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе РАМН, и в каком-то интервью сказал, что некоторое время после ареста отца жил в Тбилиси (не объясняя, как, почему, с кем там очутился, и т.д.), но уехал оттуда потому, что начались еврейские погромы (!!!). Это в Тбилиси, где никогда не было еврейских погромов?! Так и хочется сказать: ах ты, гадкий мальчишка, ты остался таким же гадким в старости, каким был в детстве! Sic!

Но вернемся в Большой Афанасьевский.

Благодаря усилиям Лауры комната была отремонтирована, со вкусом обставлена из подручных средств, а главное место занял рояль, приехавший из Тбилиси. Лаура, отличная хозяйка, прекрасно готовила, умела красиво сервировать стол, все у нее спорилось в руках, словом, быт налажился, кроме того, установились хорошие отношения с соседями, что немаловажно в коммуналке. А еще она успевала отправлять в Потьму дозволенные ГУЛАГом посылки и деньги. Все это сопровождалось занятиями в консерватории.

Настал день, когда страна узнала о смерти главного своего палача. Стали возвращаться чудом уцелевшие узники. Для Бориса Ильича свобода наступила лишь в дека-

бре 1953 года, впрочем, так же как и для Владимира Харитоновича Василенко. Необъяснимо, но оба они не знали о смерти Сталина до самого выхода из тюрьмы.

По какому-то поводу, сейчас уже не помню, я позвонила Лауре, чтобы встретиться с ней. Домашнего телефона у нас тогда не было, я звонила из автомата. Она коротко сообщила, что Збарские вернулись, я поздравила и поехала к ней. Приезжаю. Комната сияет каким-то особенным праздничным блеском, в углу стоит небольшая нарядная елочка. Понятно: Новый год на носу! И вдруг Лаура говорит мне, что Борис Ильич сейчас появится: он узнал, что придет его бывшая студентка, и пошел в свою комнатку переодеться — не хотел предстать перед ней в затрапезном виде.

Ничего не понимаю: почему он не в своем доме, не в своей квартире? Ведь, кажется, государство, освободив заключенного, вернуло все его имущество. Какая комнатка? И зачем нужно переодеться?

Выяснилось, что старая квартира Збарских уже занята другими жильцами, и сейчас хозяйственники подыскива-

— Конечно, Борис Ильич!

— Может, вы просто знаете, что я отец Левы? Или вы помните меня?

— Что вы, Борис Ильич! Как я могу не помнить вас? Ведь я слушала ваши лекции, даже экзамен вам сдавала, — поспешила я уверить его.

— Правда?

Я в недоумении уставилась на него. Глаза Збарского увлажнились, а по левой щеке медленно поползла слеза и застыла в уголке носа. Господи, подумалось мне, что же должны были сделать с человеком, чтобы отнять у него чувство собственного Я!

Через год Бориса Ильича не стало. Он читал лекцию новому поколению студентов, в перерыве, как обычно, зашел в свою комнату, а когда прозвенел звонок, — не вышел к ним...

В конце декабря того же года, через пару дней после встречи со Збарским, я собралась на новогодний торжественный вечер в нашем институте. Предстояла короткая торжественная часть в тогдашнем корпусе санитарно-ги-

«Глаза Збарского увлажнились, а по левой щеке медленно поползла слеза и застыла в уголке носа. Господи, подумалось мне, что же должны были сделать с человеком, чтобы отнять у него чувство собственного Я!»

ют или ремонтируют в том же доме другую, а пока супругов просят немного подождать. Вот они и ждут.

Вы знаете, что такое старая московская коммунальная квартира, когда-то предназначенная для одной семьи? В советское время «уплотненным» хозяевам оставляли одну, максимум две комнаты, если семья большая, остальные заселяли другими семьями. На кухне появлялись две, а то и три плиты, чтобы всем хватило, а так называемую темную комнату при кухне, прежде служившую спальней для домработницы, превращали в общий чулан. Темной же она называлась из-за отсутствия в ней окон. Дверь такой комнатухи выходила прямо на кухню.

По просьбе молодых Збарских соседи убрали из чулана свои вещи: корыта, лыжи, детские коляски, съемные оконные рамы и прочую рухлядь, — вот где пригодились хорошие отношения с соседями. Освободившийся закуток отмыли, поставили старую металлическую кровать, — за недостатком места одну на двоих — что годами словно бы ждала своего часа в том самом чулане, и соорудили настоящую спальню для супругов. Видимо, здесь, в темной комнате коммуналки, им было вольготнее, чем, к примеру, в квартире старшего сына. Бывает...

Вскоре вошел Борис Ильич, чуть похудевший, но по-прежнему подтянутый, в костюме и — о Боже! — со всеми регалиями на лацкане пиджака, вплоть до орденов Ленина и «Золотой Звезды» Героя соцтруда. Я невольно вскочила с места и замерла в смущении и недоумении: зачем для встречи с какой-то девчонкой ему понадобилось появляться при полном параде? Он подошел, протянул руку, мы поздоровались.

— Лаурочка сказала, что вас зовут Нелли, — как-то неуверенно произнес он и продолжил: — а вы знаете, кто я? Вы меня узнаете?

гиенического факультета, или главного корпуса, как в те годы его именовали. В раздевалке я подала шубу гардеробщице и увидела, как подошел и стал раздеваться рядом со мной Владимир Харитонович Василенко. Он был похож на того профессора, который принимал меня на работу в свою клинику, но ровно вдвое худее него. Пиджак висел на нем, словно с чужого плеча. Я поздоровалась.

— А вы знаете, с кем здороваетесь? — спросил он меня.

Что за наваждение, бред какой-то, подумала я и, едва сдерживая волнение, ответила:

— Конечно, знаю, Владимир Харитонович. Вы профессор Василенко, и я работала в вашей клинике ночной медсестрой.

— Правда? — спросил он, протянув мне руку. — Вы меня узнали? А я подумал, что вы просто поздоровались со старшим по возрасту.

В глазах профессора стояли слезы, и одна слезинка катилась по щеке. Я застыла, ошарашенная: разве такое бывает?

Что тут объяснять...

Вот так, задолго до Зигмунда Отта и Отилии Вайман, я открыла свой собственный закон парности случаев, только не догадалась его как-нибудь назвать...

А две короткие встречи и две слезинки на глазах таких разных, глубоко почитаемых мною людей я запомнила на всю жизнь и до сих пор не перестаю удивляться, как эти сильные, исключительные личности при всей своей непохожести, доведенные до самого края гибели, так одинаково восприняли возвращение в жизнь. Думаю, именно в этих капельках слез мне довелось тогда разглядеть истинную суть событий, но уже без розовых очков. С тех пор я их не ношу, по крайней мере стараюсь не смотреть сквозь них. Всегда ли мне это удается? Не знаю. Не мне судить... **ИБ**